

ВИОЛА
АРДОНЕ

ДЕТСКИЙ
ПОЕЗД

ИНОГДА ТОТ, КТО ОТПУСКАЕТ,
ЛЮБИТ ТЕБЯ
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ



КомпасГид
издательский дом

Виола Ардоне
Детский поезд

ИД "КомпасГид"

2019

УДК 821.131.1-3-93
ББК 84(4Ита)-44

Ардоне В.

Детский поезд / В. Ардоне — ИД "КомпасГид", 2019

ISBN 978-5-907514-27-0

Неаполь, 1946 год. Семилетний Америго садится в поезд и покидает свой город вместе с тысячами других детей. Ребятишки уезжают без родных неизвестно куда, оставляя здесь хоть и нищенское, но привычное существование. Им страшно и они строят самые отчаянные и ужасные предположения. На самом деле дети с юга Италии пересекут весь полуостров и проведут зиму в приемных семьях на севере страны, в тепле, сытости и, как оказалось, в любви. Вдали от мамы и родных переулков Неаполя Америго видит совсем другую жизнь, и она сулит ему лучшую долю. Какой путь он выберет, разрываясь между любовью к матери и приемной семьей? Программу временных семей придумали в Италии после Второй мировой войны, чтобы вывезти самых маленьких детей из беднейших областей в более благополучные районы. Были ли еще в истории подобные гуманистические проекты? Что перевешивает в такой идее: спасение детей от голода или травма от длительной разлуки с родными? Каково этим детям потом возвращаться в родной, по-прежнему нищий город? «КомпасГид» продолжает издавать книги о судьбах детей на фоне малоизвестных страниц истории. Бестселлер итальянской писательницы Виолы Ардоне (р. 1974) встаёт в один ряд с «Сахарным ребёнком» и «Вальхен» Ольги Громовой, «Историей Икбала» Франческо Д'Адамо и повестями Марии Мартиросовой «Фотографии на память» и «Красные, жёлтые, синие».

УДК 821.131.1-3-93

ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-907514-27-0

© Ардоне В., 2019
© ИД "КомпасГид", 2019

Содержание

Часть первая	7
1	8
2	10
3	14
4	15
5	20
6	24
7	27
8	29
9	31
10	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Виола Ардоне

Детский поезд

Original title: *I treni dei Bambini* by Viola Ardone

© 2019 Giulio Einaudi editore

© Издание на русском языке. ООО «Издательский дом «Тинбук», 2022

* * *

Джэйме

Часть первая

1946

1

Мама впереди, я чуть сзади. Переулками Испанского квартала мама ходит быстро: на каждый её шаг – два моих. По дороге я разглядываю ботинки прохожих. Чистые, целые: по очку за левый и правый; дырявые: минус одно очко. Босиком: ноль очков. Но вёхонькие, блестящие лаком: звёздочка, призовая игра. Своих ботинок у меня никогда не было, я вечно за другими донашиваю. И вечно стираю ноги. Мама говорит, шаркаю много. Но разве я виноват? Это всё чужая обувь. Она принимает форму ног, которые носили её до меня, перенимает их привычки, выбирает другие дороги, другие игры. А когда попадает ко мне, сперва не может понять, как я хожу и куда направляюсь. Потом потихоньку привыкнет, но к тому времени нога уже вырастет, обувь станет мала и всё начнётся сначала.

Мама впереди, я чуть сзади. Не знаю, куда мы идём: она говорит, это для моего же блага. Значит, снова какой-то подвох, как со вшами. «Это для твоего же блага» – и вот я лысый, как дыня. Хорошо ещё, мой друг Томмазино теперь тоже лысый, как дыня, – для его же блага. Соседские ребята нас засмеяли: сказали, мы будто два покойника, ползущие с кладбища Фонтанелле. Поначалу Томмазино не был мне другом. Однажды я увидел, как он стащил яблоко у Луны – седого коренщика, торговавшего с телеги на рыночной площади, – и решил, что друзьями мы быть не можем. Моя мама Антониетта не раз говорила: пускай мы бедняки, но не воры. Начнёшь воровать – кончишь побродяжкой в канаве. Вот только Томмазино, заметив меня, спёр ещё одно яблоко. И поскольку сам я это яблоко не крал, а получил в подарок, то и съел его без зазрения совести – по правде сказать, в один присест проглотил. С того момента мы друзьями и стали. Яблоки-друзьяблики.

Мама идёт прямо посередине мостовой, даже под ноги не смотрит. Я шаркаю следом и, чтобы прогнать страх, подсчитываю набранные за обувь очки. Загибаю пальцы до десяти и начинаю снова. Как наберётся десять раз по десять, непременно случится что-то приятное – такова игра. Правда, со мной ничего хорошего пока не случилось – наверное, потому, что я не слишком-то хорошо считаю. Вообще, цифры мне страсть как нравятся. Не то что буквы: те я по одной ещё различаю, но стоит им выстроиться в слова, сразу путаюсь. Мама вечно твердила, что я не должен вырасти таким, как она, потому и отправила меня в школу. Я, конечно, сходил, но не больно-то мне понравилось. Одноклассники так разорались, что голова ещё долго гудела, даже когда я домой вернулся. Класс крохотный, воняет потными ногами. Не шелохнись, слова за партой не вымолви, знай сиди да чёрточки рисуй. Училка нос скривит и ну бормотать, будто каши в рот набрала, а кто её перебьёт, сразу подзатыльник схлопочет. Я за пять дней схлопотал целых десять – считал их, загибая пальцы, очки набирал, да только ничего не выиграл. И решил, что больше в школу не пойду.

Мама, понятно, не обрадовалась, но сказала, что, раз так, будет приучать меня к труду, и определила в тряпичники. Поначалу работа казалась раем: весь день гуляешь, собирая по соседям или на свалке старые тряпки, а после тащишь их Долдону под навес на рынке. Но через пару дней я уже приползал домой настолько уставшим, что с тоской вспоминал училкины подзатыльники.

Мама останавливается перед серо-красным зданием с высокими окнами.

– Пришли, – говорит.

Эта школа выглядит куда лучше прежней: кругом тишина, ногами не воняет. Мы поднимаемся на второй этаж и ждём на деревянной лавочке в коридоре, пока голос из-за двери не произносит: «Следующий!» Поскольку никто не встаёт, мама понимает, что следующие – это мы, и мы входим внутрь.

У моей мамы Антониетты фамилия Сперанца, что значит «надежда». Сидящая в комнате синьорина, обнаружив это, бормочет:

– Ну да, а что ещё остаётся...

И я думаю: ага, сейчас мама развернётся, пристукнет каблуком, и мы пойдём домой. Но нет.

– А вы подзатыльники любите? – спрашиваю я, на всякий случай прикрыв голову руками. Синьорина смеётся и щиплет меня за щеку, но не больно.

– Садитесь, – предлагает она. И мы садимся.

Эта синьорина вовсе не похожа на училку: нос не кривит, а, наоборот, улыбается, показывая ровные белые зубы, носит короткую стрижку и брюки, как мужчина. Мы молчим. Синьорина представляется Маддаленой Крискуоло – может, мама её помнит? Она ведь против нацистов боролась, чтобы избавить нас от их притеснений. Мама несколько раз кивает, но всем нам очевидно, что ни о какой Маддалене Крискуоло она никогда раньше не слышала. Маддалена говорит, что спасла мост в районе Санита, который немцы хотели взорвать динамитом. И за это ей дали бронзовую медаль и грамоту. А я думаю, что лучше бы ей дали новые туфли: сейчас на ней одна целая и одна дырявая (ноль очков). Маддалена говорит, мы правильно сделали, что пришли к ней; что многие люди стыдятся; что ей с товарищами приходится обходить дом за домом, стучаться в каждую дверь и убеждать матерей, что желают им и их детям исключительно добра. Что многие захлопывают дверь прямо перед её носом или кричат всякие гнусности. В это я верю, поскольку и сам часто слышал такие слова, когда ходил по домам, выпрашивая старое тряпье. А синьорина говорит, что те славные люди, кто ей поверил, не будут разочарованы. И что моя мама Антониетта – большая молодчина, раз дарит сыну такой подарок. Вот только у меня никогда никаких подарков не было, если, конечно, не считать старой шкатулки, куда я сложил все свои сокровища.

Моя мама Антониетта ждёт, пока Маддалена закончит говорить, потому что не особенно сильна в болтовне. А та всё разливается, что её работа – давать детям надежду. И на меня посматривает. Лучше бы дала мне, ребёнку, хлеба и рикотты, и лучше сладкой, а не солёной, – я её пробовал однажды, на американской вечеринке, куда пробрался вместе с Томмазино (босиком: ноль очков).

Мама молчит, потому что Маддалена не понимает: они, мол, с товарищами организовали специальные поезда, чтобы отвезти детей на Север. И только тогда мама подаёт голос:

– А вы уверены? Он же просто наказание Господ не, сами видите...

Маддалена говорит, что я поеду не один – нас таких много.

– Так значит, это вовсе не школа! – наконец-то понимаю я. И улыбаюсь. А вот моя мама Антониетта не улыбается:

– Будь у меня выбор, разве я бы пришла? Вы уж постарайтесь, сделайте что возможно...

На обратном пути мама снова идёт впереди, хотя и не так быстро. А проходя мимо прилавка с пирожками, где я всякий раз дёргаю её за юбку и ною, пока не получу свою трубочку, вдруг замирает.

– Со шкварками и рикоттой, – бросает она парню за стойкой. – Одну.

Но ведь сегодня я ничего не клячил! И если мама ни с того ни с сего решила купить мне жареную трубочку ещё до полудня... Здесь точно какой-то подвох.

Парень сворачивает трубочку, жёлтую, как солнце, и толстую – едва в рот влезет. Я беру её обеими руками: боюсь уронить. Она тёплая, пахучая, я дую, рот и ноздри тотчас же наполняются ароматом масла. Мама, присев рядом на корточки, смотрит на меня.

– В общем, ты всё слышал. Большой уже, восемь скоро. А про наше положение и сам знаешь. – Тыльной стороной ладони она стирает жир с моего лица, спрашивает: – Дашь попробовать? – и, не дожидаясь ответа, отщипывает кусочек. Потом встаёт, и мы идём домой. Я ни о чём не спрашиваю, просто шагаю себе. Мама впереди, я чуть сзади.

2

Больше мы о Маддалене не заговаривали, и я решил, что, наверное, мама о ней забыла или передумала. Но через пару дней стучится к нам одна монашка, отец Дженнаро её послал. Мама кричит из-за двери:

– Чего надо, черноряся? Ступай себе!

Но та стучится снова, и мама, отложив штопку, чуть приоткрывает дверь – узенькую щёлочку, только крючковатый, землистого цвета нос и просунуть. Тогда монашка спрашивает, нельзя ли войти, и мама вяло кивает, хотя всем своим видом показывает, что не особенно рада. Монашка говорит, что мама – добрая христианка, а значит, должна понимать: Господь всё видит. Дети, говорит, не отцу-матери принадлежат, они – Божьи чада. А эти коммунисты только и мечтают, что первым же поездом отправить нас в Рос сию, где нам руки-ноги отрежут, лишь бы мы не вернулись. Но мама не отвечает. Держится, слова не проронит. Так что в конце концов черноряся злится и уходит восвояси.

Я тут же спрашиваю:

– Ты что, и правда хочешь меня в Россию отправить?

А она, снова взявшись за шитьё, начинает бормотать:

– Россия, не Россия, фашисты, коммунисты, да и священники с епископами – мне всё одно: неизвестность. – С другими людьми мама почти не говорит, только сама с собой. – Вот голод и тяжкий труд – их я знаю... Эту бы бездельницу в рясе, у которой ни мужика рядом, ни ребёнка, на моё место – уж я бы на неё поглядела... Легко языком ворочать, когда детей растить не надо! Где она была, когда слёг мой малыш Луиджи?

Луиджи – мой брат, и, не приди ему в голову дурацкая мысль занять в младенчестве бронхиальную астму, он был бы меня на три года старше. А так я уже с самого рождения оказался единственным ребёнком. Мама о Луиджи почти не упоминает, только зажигает иногда лучину перед фотокарточкой, что над комодом. Мне о нём рассказала Хабалда, добрая тётка из дома напротив. Мама тогда ужасно страдала, соседи даже считали, что она не поправится. Но родился я, и она обрадовалась. Хотя, наверное, не так сильно, как с Луиджи. Иначе зачем бы ей отправлять меня в Россию?

Я выскакиваю из дома и бегу к Хабалде – та всегда всё знает, а если чего не знает, найдёт, у кого выпросить. Но Хабалда говорит, ни в какую Россию меня не повезут. Мол, слыхала она про эту Маддалену Крискуоло и других: помочь нам хотят, надежду подарить. А что мне делать с надеждой? Одна у меня уже есть – в фамилии: я ведь тоже Сперанца, как моя мама Антониетта, только зовут Америго. Это отец придумал. Я, правда, его никогда не видел, и всякий раз, как о нём спрашиваю, мама закатывает глаза к небу, будто собирается дождь, а она не успела развесить бельё на просушку. Он, говорит, большой и сильный. Уехал в Америку искать счастья. «А вернётся?» – спрашиваю. Рано или поздно вернётся, говорит. В общем, ничего он мне не оставил, кроме имени. Так всегда и бывает.

С тех пор как прошёл слух о поездках, соседи потеряли покой и сон. Каждый твердит о своём: один доподлинно знает, что нас продадут в рабство в Америку, другой уверяет, что отправят в Россию и сожгут там в печке, третий слышал, что увезут больных, а здоровых оставят матерям – из тех, кому на своих детей не плевать по неграмотности или бестолковости, кто не станет делать вид, будто так и надо. Я вот тоже неграмотный, но в нашем переулке меня прозвали Нобелем – столько я всего знаю, хотя в школу больше и не хожу. А я всё на лету схватываю: покручусь тут-там, послушаю сплетни, погляжу, кто что делает. Учёным ведь никто не рождается.

Моя мама Антониетта не любит, когда я о её делах болтаю. Потому-то я никому и не говорю, что у нас под кроватью мешки с кофе, которые Долдон приносит. И тем более о том,

что сам Долдон по вечерам к нам заходит и с мамой в комнате запирается. Не знаю, что он там жене рассказывает: может, что в бильярд играет. А меня в это время на улицу гонит. Говорит, им поработать надо – ему, значит, и ей. И я отправляюсь тряпичничать: ищу всякую ветошь, лоскуты, истёртую до дыр американскую военную форму, грязное, кишасщее блохами нижнее бельё. Поначалу, когда он заявлялся, я уходить не хотел: даже и представить себе не мог, что Долдон станет в моём доме свои порядки наводить. Тогда мама велела мне проявлять к нему почтение, потому что с ним важно поддерживать дружбу и потому что он даёт нам еду. Сказала, он дело знает: мол, если кто меня чему путному и научит или что покажет, так только он. Я ничего не ответил, но с тех пор чуть он на порог – я на свалку. Тряпки, что нахожу, приношу домой, чтобы мама выстирала, отгладила и зашила, а потом тащу на рыночную площадь, Долдону, и он продаёт их тем, кто чуть побогаче нас. А я, пока туда-сюда хожу, разглядываю чужую обувь да подсчитываю на пальцах очки, и, как наберу десять раз по десять, случится чудо: отец вернётся из Америки богачом, и Долдона я даже на порог не пущу. И дверь у него перед носом захлопну.

Как-то раз игра и в самом деле сложилась: я увидел у театра Сан-Карло синьора в лакированных туфлях, таких новеньких и блестящих, что они одни потянули на сотню очков. А когда вернулся домой, Долдон торчал под дверью. Оказывается, мама видела, как его жена гуляла по проспекту Ретифило с новой сумочкой под мышкой.

– Тебе нужно научиться ждать. Подожди, придёт и твоё время, – буркнул маме Долдон.

На что она ответила:

– Но сегодня подождать придётся тебе, – и домой его в тот день не пустила.

Долдон постоял немного, закурил сигарету, сунул руки в карманы и пошёл прочь. Ну, я потопал за ним – просто чтобы поглядеть на его разочарование – и говорю:

– А что, у нас выходной сегодня или праздник какой? Работать не надо?

Он на корточках присел, сигаретой затянулся, а когда выдохнул, изо рта вылетело много-много мелких дымных колечек.

– Запомни, парень, – заявил он мне, – женщины и вино суть одно и то же. Либо ты их, либо они тебя. И если позволишь им себя одолеть, вмиг лишишься воли, в раба превратишься. А я как был свободным человеком, так всегда им и буду. Давай-ка завалимся в остерию, я тебе красненького налью. Сегодня Долдон сделает из тебя мужчину!

– Ой, как жаль, что я не могу составить вам компанию, у меня дела...

– Это у тебя-то? Какие такие дела?

– Как обычно: тряпичничать. Гроши, конечно, но хоть на еду... Вы уж простите... – и я ушёл, оставив его стоять в одиночестве, глядя на уплывающие колечки сигаретного дыма.

Найденные тряпки я складываю в корзину, которую дала мне мама. А поскольку чем корзина полнее, тем тяжелее, я стал носить её на голове – подсмотрел, как делают женщины на рынке. Сегодня ношу, завтра ношу, вот и доносился до того, что волосы на макушке выпали, уже лысина проглядывает. Как по мне, потому-то мама меня и обрила, а вовсе не из-за вшей!

Слоняясь по округе, я потихоньку расспрашиваю о поезде, но ничего нового не узнаю: одни говорят одно, другие – другое. Томмазино без конца твердит, что уж ему-то ехать не обязательно: еды у них в доме хватает, а до того, чтобы просить милостыню, мать, донна Армида, никогда не опустится. Тюха, старшая по нашему переулку, ворчит: при короле, мол, такого не было, чтобы матери детьми торговали. Нет, говорит, больше в людях до-сто-ин-ства! И всякий раз, как это слово произносит, стискивает немногие оставшиеся жёлтые зубы, торчащие из почерневших дёсен, и сплёвывает через дырку. Мне кажется, Тюха с самого рождения была уродиной, потому и мужем не обзавелась. Вот только болтать об этом не стоит – ясное дело, больная мозоль. И о том, почему детей нет. Когда-то она держала щегла, но и тот улетел. Правда, о щегле с Тюхой поговорить можно.

Хабалда тоже вековуха, хотя никто точно и не знает почему. Одни говорят, отказывала всем, кто просил её руки, и в конце концов осталась одна, а всё потому, что на самом деле безумно богата и не хочет ни с кем деньгами делиться. Другие – что был у неё жених, да умер. Третьи – что избранник, как оказалось, уже был женат. Но только, скажу я вам, всё это сплетни.

Лишь однажды на моей памяти Тюха с Хабалдой хоть в чём-то сошлись: когда немцы в поисках съестного добрались и до нашего переулка. Обе тогда напекли пирогов с голубиным помётом, выдав его за шкварки – традиционное блюдо нашей кухни. Те ели да нахваливали: *gut, gut!*¹ – а Тюха с Хабалдой, толкая друг друга в бок, только тихонько посмеивались. В общем, немцы с тех пор не возвращались, даже чтобы покарать охальниц.

Моя мама Антониетта никогда меня не продавала. Раньше. Но тут, дня через два или три после визита монашки, возвращаюсь я домой с корзиной тряпок и вижу эту Маддалену Крискуоло. Ага, думаю, вот за мной и пришли, покупать собрались! И, пока мама с ней разговаривает, всё слоняюсь по комнате, будто полудурок, а на вопросы или вовсе не отвечаю, или нарочно какую-нибудь ерунду скажу: стараюсь походить на дефективного, чтобы не решились меня покупать. Потому что какой дурак станет покупать дефективного или, того хуже, чокнутого?

Маддалена тем временем рассказывает, что всегда жила в бедности, да и по сей день живёт, что голод – не наша вина, а несправедливость мира и что мир можно сделать лучше, но для этого женщинам надо объединиться. Хотя вон Тюха вечно ворчит: мол, как станут женщины носить короткие стрижки и брюки, навроде Маддалены, тут мир вверх тормашками и перевернётся. Но скажу я вам: не ей бы с её усищами рот разевать! Вот у Маддалены усов нет, только полные ярко-алые губы и зубы белее белого.

Потом Маддалена, чуть понизив голос, говорит маме, что знает её историю, сочувствует её тяжкой утрате и что женщины должны проявлять солидарность, помогать друг другу. А моя мама Антониетта ещё пару минут сидит, уставившись в голую стену, и я понимаю, что она думает о моём старшем брате Луиджи.

К нам в дом и до Маддалены приходили разные дамочки, но чтобы с короткими волосами и в брюках – такого не бывало. Те блондинки в дорогих платьях и с безупречными причёсками уж точно были настоящими синьорами. Едва завидев их в переулке, Хабалда криво усмехалась: «Опять благотворительницы прибыли!» Поначалу мы радовались их приходу и особенно картонным коробкам, полным еды, но со временем сообразили, что ни пасты, ни мяса, ни сыра в этих коробках не бывает – только рис, вечно один рис и ничего кроме риса. Когда они объявлялись, моя мама Антониетта поднимала глаза к небу и говорила: «Боже, сколько риса у нас сегодня! Так и по-китайски заговорить недолго!» Сперва благотворительницы не понимали, в чём дело, и только потом, когда увидели, что их коробки больше никто не берёт, принялись наперебой уверять, что рис – важнейший национальный продукт и что пора возрождать «рисовую кампанию». Тогда им попросту перестали открывать двери. Тюха, узнав об этом, долго разорялась, что раз мы не ценим благородство и до-сто-ин-ство, то и сами ничего не заслуживаем. Хабалда в ответ заявила, что этим рисом нас только дразнят, и с тех пор всякий раз, как кто-нибудь собирался всучить ей что-то ненужное, говорила: «Вот, опять благотворительницы прибыли!»

Маддалена тем временем обещает, что в поезде вовсе не скучно, а семьи из Северной и Центральной Италии примут нас как собственных детей: накормят, дадут новую одежду и обувь (два очка). Услышав это, я перестаю изображать дефективного и говорю:

– Ладно, мам, продай меня уже этой синьоре!

Полные алые губы Маддалены растягиваются в улыбке, она смеётся, а моя мама Антониетта тыльной стороной ладони отвешивает мне оплеуху. Я хватаюсь за горящую то ли от

¹ Хорошо, хорошо! (нем.)

боли, то ли от стыда щёку. Маддалена вмиг прекращает смеяться и берёт маму за руку, но та дёргается, будто коснулась кипящей кастрюли. Не любит мама, когда её трогают, даже ласково. Тогда Маддалена ужасно серьёзным голосом говорит, что вовсе не собирается меня покупать. И что Коммунистическая партия организует то, чего никогда прежде не видывали, то, что войдёт в историю, о чём будут помнить долгие годы.

– Как о пирогах с голубиным помётом? – перебиваю я.

Моя мама Антониетта сердито оборачивается, и я уже готовлюсь к очередной оплеухе. Но она только спрашивает:

– Ну а сам ты чего хочешь?

Я отвечаю, что, если мне дадут ботинки, причём оба новых (призовая игра!), я готов до самого логова коммунистов пешком идти, не то что на поезде ехать. Маддалена улыбается, а мама только кивает: вверх-вниз, вверх-вниз. Что значит «договорились».

3

Моя мама Антониетта замедляет шаг возле уже знакомого здания – штаб-квартиры коммунистов на виа Медина: Маддалена сказала, чтобы ехать на поезде, нужно внести меня в список. На первом этаже мы сталкиваемся с тремя юношами и двумя девушками. Девушки сразу ведут нас в комнату с письменным столом и красным флагом за ним, усаживают и начинают расспрашивать о всяком-разном. Одна спрашивает, другая записывает на листке бумаги. Наконец та, что спрашивает, даёт мне карамельку из вазочки. А та, что пишет, кладёт свой листок на стол перед ни чего не понимающей мамой. Потом вкладывает ей в руку перо и велит подписать. Мама не двигается. И я тоже от леденца отказываюсь, хотя от запаха лимона уже щиплет в носу. Не каждый день, знаете ли, достаётся настоящая конфета.

Из соседней комнаты доносится перебранка. Девушки молча переглядываются: похоже, они давно привыкли к крикам и ровным счётом ничего не могут поделать. Моя мама Антониетта тем временем всё сидит с пером в поднятой руке перед листком бумаги. Я спрашиваю, зачем за стенкой так орут. Та, что прежде писала, молчит. Зато вторая отвечает: мол, это они не ссорятся, а обсуждают, что нужно сделать для лучшей жизни, и вообще, это политика. А я тогда спрашиваю: простите, вы что, даже между собой договориться не можете? Она кривится, как если бы сунула в рот орех и обнаружила, что он горький, потом бормочет, что между товарищами тоже иногда случаются расхождения, различные поветрия... Тогда та, что писала, пихает её локтем, словно намекая, чтобы не болтала лишнего, потом оборачивается к маме и говорит, мол, если она не может написать своё имя, то пусть поставит крестик, а они обе подпишутся как свидетели. Моя мама Антониетта краснеет и, уставившись на листок, рисует кривоватую *x*. Услышав о поветриях, я пугаюсь, поскольку Хабалда вечно ворчит, что поветрия вызывают бронхит, а мне сказали, что больных никуда не возьмут. По-моему, это несправедливо: что, больным нельзя поехать и уже там подлечиться? А то, как правильно заметила Тюха, со здоровыми легко проявлять солидарность. Тюха вообще хорошая тётка, если не считать усов и почерневших дёсен. Иногда она даже даёт мне лиру-другую. Просто так.

Потом девушки пишут что-то в толстой книге и провожают нас к выходу. Юноши в соседней комнате по-прежнему спорят о политике. Худошавый паренёк со светлыми волосами всё время повторяет непонятные слова: «южный вопрос» и «национальная интеграция». Я взглядываю на маму: может, она что поняла? Но она упрямо тянет меня дальше. Когда я прохожу мимо светловолосого, он оборачивается ко мне, будто хочет сказать: ну же, подтверди! Я уже открываю рот, чтобы ответить, мол, я ничего в этом не понимаю и, не приведи меня (для моего же блага) моя мама Антониетта, вообще никогда бы сюда не попал. А мама хватить меня за руку и едва слышно шипит:

– Тоже невтерпёж вляпаться? Закрой рот и марш на улицу!

И мы идём к двери. Светловолосый паренёк понуро смотрит нам вслед.

4

Внезапно погода портится. Моя мама Антониетта больше не отправляет меня тряпичничать – ещё и потому, что вслед за дождями ударили первые морозы. Трубочек она тоже больше не покупает, зато как-то сделала дженовезе² – объедение! Давешнюю монашку мы тоже не видели, а пересуды насчёт поезда соседям поднадоели и сами собой сошли на нет.

Без тряпичных денег нам с мамой несладко приходится, так что я предложил Томмазино основать своё предприятие. Поначалу, правда, он и слышать ничего не хотел – отчасти из отвращения, отчасти из страха, что всё откроется и мама в наказание отправит его на поезде куда подальше. Но я объяснил, что если даже Долдону удаётся заработать на всяких отбросах со свалки, то и мы сможем. Не такие уж мы недоумки, в конце концов! Торговать решили крысами, выдавая их за хомяков. Присмотрели лоток на рынке, среди клеток с попугаями и щеглами, разделили обязанности: мне ловить, ему перекрашивать. Это я придумал. Бывал там один американский офицер, разводивший хомяков, а потом продававший их на воротники богатым синьорам, которые после войны стали уже не такими богатыми: и экономия, и выглядит прилично. Так вот, крысы, которых я ловил, с отрезанными хвостами и выкрашенные краской для обуви в коричневый с белым, выглядели точь-в-точь как хомяки того американца! Сперва всё шло гладко. Клиенты к нам с Томмазино липли, как мухи на мёд, и, не пойдя в тот ненастный день дождь, к обеду мы бы разбогатели.

– Ну вот, – сказал мне Томмазино, – раз мы теперь сами зарабатываем, тебе больше не придётся идти на поклон к коммунистам!

– Почему ещё? – удивился я. – Поездка на поезде – это же как летний отдых!

– Ага, только для умирающих с голоду. Знаешь, куда мама везёт меня отдыхать следующим летом? На Искью!

В ту же секунду небо будто рассвирепело, и начался ливень, каких свет не видывал.

– Слушай, Томмази, в следующий раз, как соберёшься так знатно соврать, сперва приготовь зонтик!

Мы-то, конечно, спрятались под карнизом соседнего здания. Но вот лоток с перекрашенными крысами остался под дождём, и не успели мы подумать, что неплохо бы его спрятать, как краска для обуви потекла, и хомяки снова превратились в крыс. Синьоры, столпившиеся вокруг клеток, тут же развопились:

– Мерзость! Зараза!

А сбежать-то уже и некуда: откуда ни возмись появились мужья этих синьор с явным намерением нас отмутузить. К счастью, на шум подоспел и Долдон.

– Эту дрянь убрать, чтоб духу её здесь не было, – велел он, ухватив нас обоих за шкурки. – А с вами потом разберёмся.

Я прикинул, что взбучки не миновать, но больше он про крыс не упоминал. Только раз, зайдя к маме поработать, задержался у двери, отвёл меня в сторонку, затаился напоследок сигаретой и, прежде чем выбросить, шепнул:

– Мысль, кстати, хорошая, вот только лоток накрывать надо! – Тут он хохотнул, и в воздухе поплыли колечки дыма. – Решишь заняться торговлей – дуй ко мне на рынок, я тебя научу...

Потом похлопал меня по щеке – я не понял, то ли ударить хотел, то ли погладить, – и пошёл себе дальше.

И я уже совсем-совсем было собрался к Долдону – только чтобы научиться, конечно. Но через пару дней его арестовали: видать, из-за той истории с кофе. О хомяках тут же забыли –

² Дженовезе – традиционная неаполитанская паста с тушёным мясом и луком.

все теперь говорили о Долдоне, которого посадили в тюрьму. А я думал: вот бы сейчас в глаза ему взглянуть да спросить, свободный он человек или нет!

Узнав об аресте, мама сразу убрала из-под кровати мешки с кофе и долго ещё, слышав шум у дверей, закрывала лицо руками, будто пыталась исчезнуть. Но дни шли, а с обыском так никто и не явился и о Долдоне потихоньку забыли. Люди вообще сперва наговорят с три короба, а после всё забывают – ну, кроме мамы: та говорит мало, но чтобы какую мелочь забыть – никогда.

И вот как-то утром, когда у меня никакой поездки уже и в мыслях нет, мама поднимается затемно – даже солнце ещё не взошло, – надевает своё лучшее платье и тщательно причёсывается перед зеркалом. А мне выдаёт наименее поношенную одежду.

– Пора идти, – говорит, – не то опоздаем.

Тут я, конечно, всё вспоминаю.

И мы идём: она впереди, я чуть сзади. Начинает моросить дождь, я радостно шлёпаю по лужам. Мама отвешивает мне подзатыльник, но ноги уже мокрые, а идти долго. Я оглядываюсь по сторонам: надо бы посчитать обувь, побольше очков заработать – да только сегодня игра почему-то меня не увлекает. Закрыть бы тоже лицо руками, исчезнуть, хоть ненадолго. Рядом идут ещё матери с детьми, и немало. Отцы тоже есть, но видно, что им сейчас больше всего хочется очутиться где-нибудь подальше. Один, не сбавляя шагу, пишет инструкцию по пользованию сыном: во сколько укладывать, во сколько будить, что любит на ужин, что нет, сколько раз в неделю ходит по-большому и чтобы непременно подкладывали под простыню клеёнку, не то может ночью напрудить в постель. Только дочитав список вслух, отец наконец разрешает униженному при всём честном народе сыну сложить листок вчетверо и убрать в карман, нарочно пришитый к рубашке изнутри. Потом, немного подумав, снова достаёт и дописывает благодарность семье, которая примет его отпрыска: мол, слава Богу, не так уж они и нуждаются, но сын настаивал, и они решили не спорить.

А вот женщины, ничего не стыдясь, ведут за руку кто по двое, кто по трое, а кто и по четверо детей. Это я в семье единственный ребёнок – даже со старшим братом Луиджи не успел познакомиться. И с отцом тоже – слишком поздно родился. Хотя, может, так и лучше: по крайней мере, отцу не будет стыдно провожать меня на поезд.

В конце концов мы приходим к длиннющему зданию. Моя мама Антониетта говорит, что это приют для бедных.

– Как так? – спрашиваю я. – Я вроде на Север, за лучшей жизнью собирался, а ты меня в приюте для бедных бросаешь? Да мне здесь только хуже станет! Может, надо было дома пересидеть?

Но мама объясняет, что, прежде чем отправить нас на Север, нужно всех осмотреть и понять, здоровы мы или больны: а вдруг какая зараза?

– И потом, – говорит, – вам ведь нужно выдать тёплую одежду, ботинки и шапки. Там, на Севере, знаешь ли, не как у нас, там – зима!

– А ботинки прям новые-новые? – снова спрашиваю я.

– Новёхонькие. Ну, или чуть поношенные, но зато целые.

– Два очка! – кричу я и, вмиг забыв об отъезде, скачу вокруг неё на одной ножке.

Перед зданием толпа, целая куча мам в окружении разновозрастных детей: младенцы, малыши, чуть постарше и уже большие. Я среди тех, кто чуть постарше. У входа стоит какая-то девушка – не Маддалена. И не одна из тех дамочек с рисом. Говорит, нужно занять очередь, анализы сдать, а потом каждому пришьют на одежду номер, чтобы различать, иначе, когда вернёмся, все дети перепутаются и никогда не смогут найти свою семью. Но мне-то моя мама нужна, я её на другую не променяю, поэтому вцепляюсь в мамину сумку и говорю, что, в конце концов, не так уж хочу эти новые ботинки: по мне, можно и домой пойти. Но она либо меня

не слышит, либо не хочет слышать. А мне от этого так грустно, что даже живот схватывает. Может, стоило и дальше изображать дефективного, лишь бы не уезжать?

Я отворачиваюсь – не хочу, чтобы она видела, как я плачу, – и тут же едва не лопаюсь со смеху: в двух шагах позади меня в толпе стоит Томмазино.

– Томмази! – кричу я. – Ты что здесь делаешь? Паром на Искью ждёшь?

Он поднимает глаза – бледный как полотно, едва живой от страха. Выходит, его маме всё-таки пришлось просить милостыню! Тюха говорила, когда-то донна Армида была богатой, ужасно богатой. Она жила в роскошном дворце на Ретифило с кучей слуг, шила платья для самых знатных синьор, имела связи, а её муж, дон Джоаккино Сапорито, даже собирался купить автомобиль. Правда, если верить Хабалде, чтобы пробиться наверх, донна Армида только и делала, что фашистам пятки лизала (и это ещё прилично выражаясь). А как фашистский режим рухнул, пришлось вернуться к тому, с чего начинала. Мужа её, который был раньше большой шишкой, арестовали и долго допрашивали. Все с нетерпением ждали приговора: расстрел или тюрьма? Но ему так ничего и не сделали. Хабалда сказала, под амнистию попал. Это как когда моя мама Антониетта, обнаружив, что я разбил супницу, память о её покойной матери Филомене, царствие ей небесное, а нам всем крепкого здоровья, сказала только: «Убирайся с глаз моих, не то прибью на месте». Я тогда сбежал к Хабалде и дома пару дней не появлялся. В общем, этого фашиста, мужа донны Армиды, отпустили, он пришёл домой, и разговоры утихли. Но живут они теперь в бедном квартале, в переулке по соседству с нашим.

Пока донна Армида держала ателье на Ретифило, ботинки у Томмазино всегда были новёхонькими (призовая игра). Он и теперь их носил, вот только ботинки с тех пор изнасились и продрались (минус очко за каждый).

Завидев позади нас Томмазино, мама вздрагивает и крепко сжимает мою руку – напоминает о моём обещании. Я на миг цепенею, но потом оборачиваюсь и подмигиваю. Просто так получилось, что Томмазино иногда увязывался со мной тряпичничать, а донне Армиде это не нравилось. Она говорила, что её сыну нужно дружить с теми, кто лучше него, а не с какими-то проходимцами. И мама, когда об этом узнала, заставила меня пообещать, что я оставлю Томмазино в покое. Ещё не хватало водиться с отродьем всяких выскочек, особенно если Хабалда уверяет, будто они фашисты. В конце концов я пообещал своей маме не дружить с Томмазино, а Томмазино своей – не дружить со мной. Правда, мы всё равно каждый день встречаемся, но теперь – тайком.

А дети всё прибывают: одни пешком, другие на автобусах, предоставленных, по словам какой-то женщины, трамвайным депо, кто-то даже на полицейских джипах. Когда в них сидят не солдаты, а множество кричащих и размахивающих разноцветными флажками детей, эти джипы похожи на повозки для праздника Пьедигротта³. Я спрашиваю, нельзя ли мне тоже в джип, но мама говорит, чтобы я держал её за руку, не то потеряюсь. А если мне и в самом деле так не терпится потеряться, придётся подождать, пока пришьют номер. Народу вокруг очень много, девушка отчаянно пытается выстроить нас в одну ровную колонну, но очередь вьётся, как угорь в руках торговца.

Светловолосая девчонка, всё это время нывшая, что хочет поскорее садиться в поезд, передумала и теперь, рыдая, вопит, что никуда не поедет. Мальчишка с каштановой шевелюрой, чуть постарше меня, пришедший проводить брата, заявляет, что это несправедливо: почему он должен сидеть дома, когда его брат уезжает развлекаться? – и тоже плачет. Поднимается крик, подзатыльники так и сыплются, но всё без толку: рыдания не утихают, и матери уже не знают, какому святому молиться, чтобы всё это кончилось. Наконец подходит одна из

³ Пьедигротта – крупнейший неаполитанский фестиваль, во время которого по городу возят гигантские фигуры героев сказок. Завершается конкурсом лирической песни.

девушек, которые вносили нас в список, вычёркивает блондинку, вписывает имя мальчишки с каштановой шевелюрой, и все довольны. За исключением матери блондинки, которая, уводя дочь, ворчит: «Дома разберёмся».

В какой-то момент я вдруг слышу знакомый голос: к нам движется плотная группа женщин с Тюхой во главе. Сама Тюха машет руками и орёт так, что другая на её месте давно бы глотку сорвала; на груди – король Умберто, прищипленный булавкой. Впервые увидев у неё в полуподвале этот портрет, я поинтересовался: это что за юный красавчик с усиками, никак, жених ваш? Тюха сперва замахнулась на меня: мол, как я смею оскорблять память её покойного жениха, погибшего в Великой войне⁴, царствие ему небесное, человека, которому она ни разу не изменяла, даже в мыслях! Потом трижды перекрестилась, поцеловала кончики пальцев, послала в небеса воздушный поцелуй и рассказала, что молодой человек с усиками был нашим последним королём, царствование которого закончилось, не успев начаться, поскольку кое-кому взбрело в голову поиграться в республику и даже подделывать избирательные бюллетени, лишь бы победить. Немного помолчав, Тюха ещё добавила, что она была и остаётся мо-нархист-кой, а красные всё только с ног на голову перевернули, и с тех пор никто ничего понять не может. Её послушать, так мой отец связался с этими бандитами-коммунистами (рыжие все бандиты), вот ему и пришлось бежать, да только не в Америку! Я её слушал и думал, что это вполне возможно: у меня ведь тоже волосы рыжие, хотя у моей мамы Антониетты тёмные. И с тех пор больше не злился, когда меня дразнили Россо Мальпело⁵ – «рыжим зловредом».

Тюха с портретом на груди подводит колонну бездетных женщин поближе и принимается орать на тех женщин, у которых дети как раз есть.

– Не смейте торговать младенцами! – кричит она. – Вам просто головы заморочили! А на самом деле в Сибирь их отправят, на каторгу, если они прежде от холода не умрут!

Малыши плачут и не хотят никуда ехать, но те, кто постарше, стоят на своём. Толпа колышется: похоже на праздник святого Януария, только без чуда⁶. И чем больше Тюха бьёт себя в грудь, тем сильнее сминается лицо с усиками на портрете. Эх, была бы здесь Хабалда, уж она бы не сдержалась! Но Хабалды пока не видно. А Тюха не унимается:

– Не пускайте их, они не вернуться! Разве не знаете, что фашисты заминировали железную дорогу и будут взрывать поезда? Крепче держите ваших детей, как делали это под бомбёжками, их спасение – только вы сами да провидение Господне!

Я о бомбёжках помню только крики людей и вой сирен. Заслышав их, мама подхватывала меня на руки и бежала. А спустившись в бомбоубежище, ни на секунду не отпускала. Так что во время бомбёжек я был счастлив.

Колонна бездетных женщин врезается в толпу матерей, едва-едва успевших построиться, и снова всё портит. Тогда из длинного здания выбегают ещё девушки, пытаются успокоить собравшихся.

– Не уходите, не отнимайте у своих детей такую счастливую возможность! Подумайте только, зима на носу! Холод, сырость, болезни... – Подходя к каждому ребёнку, они дают ему что-то плоское, завёрнутое в фольгу. – Мы тоже матери. Ваши дети проведут зиму в тепле, их накормят, о них позаботятся. Их готовы приютить у себя семьи из Болоньи, Модены, Римини! Дети вернуться к вам радостными, здоровыми, сытыми! Кормить их будут три раза в день, завтраком, обедом и ужином...

⁴ Великая война, или Большая война – Первая мировая война (1914–1918 гг.), получившая современное название после начала Второй мировой.

⁵ Россо Мальпело – мальчик, которого считали преступником из-за цвета волос, герой одноимённой новеллы Джованни Верги.

⁶ Праздник святого Януария – праздник в честь покровителя Неаполя, в ходе которого ежегодно происходит чудо превращения высохшей крови святого в жидкую.

Одна девушка подходит ко мне, протягивает фольгу. Внутри обнаруживается тёмно-коричневая плитка.

– Ешь, сынок, это шоколад!

А я отвечаю – снисходительно так, свысока:

– О да, сто раз о нём слышал...

– Донна Антониетта, неужели вы тоже продаёте своего сына? – спрашивает Тюха, впечатывая кулак в портрет юноши с усиками. Тот недовольно морщится. – Не видела бы своими глазами, ни за что бы не поверила! Что вы, не нужно... Это всё из-за Долдона, из-за его ареста? Шепнули бы мне словечко, нешто ж я бы вам кофе не отсыпала?

Моя мама Антониетта косится на меня: не я ли рассказал соседке про кофе?

– Донна Тюха, – отвечает она, – я никогда не пыталась ни на ком нажиться, что в долг брала – всегда возвращала, а когда знала, что не смогу вернуть, то и не просила. Да, мужу пришлось уехать, попытать счастья, но когда он вернётся... Впрочем, что я объясняю, вы же и сами всё прекрасно знаете...

– Рада за вас, донна Антониетта, но позвольте... Это ведь ниже вашего до-сто-ин-ства!

Когда Тюха выплёвывает слово «до-сто-ин-ство», я закрываю глаза, чтобы не видеть её почерневших дёсен и слюны, текущей сквозь провалы на месте отсутствующих зубов. Но потом снова открываю, потому что моя мама Антониетта не отвечает, а это плохой знак: смолчать, когда над ней насмеются, она никогда не умела. Так что я беру последний кусочек шоколада, но в рот пока не кладу, а смятую фольгу прячу в карман, чтобы потом сделать из неё пушечное ядро для солдата, которого нашёл на днях на Ретифило. И отвечаю вместо мамы:

– Донна Тюха, вот у меня есть отец... ну, где-то есть. А у вас есть сын, как у мамы?

Тюха молча кладёт руку на грудь, разглаживая смятого беднягу с усиками.

– Нет, правда? Неужели только портрет короля Умберто и остался?

Почерневшие дёсны Тюхи вздрагивают от ярости.

– Какая жалость! Не то последний кусочек шоколада – вот этот, видите? – я бы непременно ему отдал.

И прямо так, целиком, сую в рот.

5

– Женщины, женщины, послушайте! Я – Маддалена Крискуоло с Паллонетто, что в Санта-Лючии, сражалась за нашу свободу во время Четырёх дней!⁷

Матери разом замолкают. Маддалена, стоя на тележке коренщика, кричит в какую-то железную воронку, и та делает её голос ещё звонче.

– Когда пришла пора изгнать немцев, мы, женщины, тоже внесли свой вклад! Матери и дочери, жёны, старухи и юные девушки – все мы выходили на улицу и бились насмерть! Вы были там, и я тоже там была! Здесь, сейчас, – просто очередная битва, пускай и против куда более опасных врагов: голода и нищеты! И если вы сразитесь с ними, ваши дети победят!

Женщины переглядываются.

– Они вернутся к вам сытыми и здоровыми! А вы тем временем справитесь с бесчисленными трудностями, которые подбрасывает вам жизнь! И когда снова обнимете своих детей, тоже будете сытыми и здоровыми! Клянусь честью, я верну их вам, не будь я Маддалена Крискуоло!

Женщины молчат. Даже дети затихли.

Маддалена спрыгивает с тележки и, пробираясь сквозь толпу матерей, окружённых цепляющейся за их юбки малышняй, начинает петь в свою железную воронку. Голос у неё красивый – почти как те, что я слышу у дверей музыкальной школы, пока жду, когда выйдет Каролина со своей скрипкой в руке.

Пусть мы – всего лишь женщины,
Но страха мы не знаем,
С любовью к нашим детям
Мы лигу затеваем...⁸

Поддерживают Маддалену только девушки, матери по-прежнему молчат. Потом кто-то, набравшись наконец смелости, начинает подпевать, другие постепенно подхватывают. Тюха и её сторонницы отвечают монархическим гимном:

Да здравствует король!
Да здравствует король!
Да здравствует король!
Звенят победно трубы:
«Да здравствует король!»
Да здравствует король!
Да здравствует король!⁹

Но их слишком мало, они отчаянно фальшивят, а песня матерей становится всё громче и громче, и вот уже вокруг – только их голоса, которым вторят дети. Я впервые в жизни слышу, как поёт моя мама Антониетта. Тюха умолкает, закрывает рот, пряча дёсны. Потом, снова встав во главе колонны, решительно шагает прочь. Проходя мимо меня, она бросает: «Голод сильнее страха...» – но толпа относит её в сторону, и конца фразы я не слышу.

⁷ Четыре дня – народное восстание против немецких войск в Неаполе 27–30 сентября 1943 г.

⁸ Стихи из народной социалистической песни La Lega («Лига»).

⁹ Стихи из песни Marcia Reale («Королевский марш»), слова и музыка Джузеппе Габетти.

Маддалена, снова поднеся воронку ко рту, говорит, что мы должны попрощаться с мамами и идти в длинное здание, где нас вымоют и осмотрят. Кто будет себя хорошо вести, получит ещё одну шоколадку. Я крепко сжимаю мамину руку, оборачиваюсь и вижу, что взгляд у неё такой же странный, как у немцев, искавших еду. Тогда я развожу руки в стороны, словно дирижёр оркестра, которого видел, когда мы с Каролиной проскользнули в театр, где шла репетиция, и что есть мочи прижимаюсь к её животу. Сперва она выглядит удивлённой, потому что в объятиях мы с ней не особенно сильны. Но потом всё-таки кладёт руку мне на голову и медленно гладит по волосам, взад-вперёд.

Я чувствую слабый запах мыла. Совсем недолго.

Подошедшая девушка спрашивает, как меня зовут.

– Америго Сперанца, – отвечаю, – как мою маму Антониетту.

Она достаёт булавку и пришивает к моей рубашке листок бумаги с именем, фамилией и номером. А другой такой же листок отдаёт маме, и та суёт его в вырез платья, где хранит всё самое важное: немного денег, чудотворный образок «Святой Антоний – с бесами воин», платочек, вышитый её покойной матерью Филоменой, царствие ей небесное, а теперь вот и мой номер, чтобы прижимать к груди, когда я уеду.

Когда все матери и дети получают номера, Мадда лена подносит ко рту железную воронку и, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, чтобы мы лучше слышали, объявляет:

– Женщины, женщины, подождите минутку! Поставьте детей перед собой, чтобы мы могли вас сфотографировать!

Толпа мам, которую это известие застало врасплох, будто по мановению длани Господней приходит в движение и ломает строй: одни приглаживают волосы, другие щиплют себя за щёки, чтобы вызвать подобие здорового румянца, третьи кусают губы – делают вид, что на них помада, как у женщин с портретов в витринах на Ретифило. Моя мама Антониетта украдкой облизывает руку и проводит по моим волосам, которые с тех пор, как я был лысый, словно дыня, никак не хотят лежать ровно. Мимо проходит Маддалена с табличкой в руке.

– Что там написано, Амери? – спрашивает мама.

Я гляжу на буквы: одни узнаю, другие нет, но как их сложить вместе – не знаю и смущаюсь. Мне ведь больше цифры нравятся.

– Зачем тогда я тебя в школу посылала? Штаны протирать?

К счастью, в этот момент Маддалена снова подносит ко рту свою воронку и читает, что мы – дети Юга и что Север хочет нам помочь, а это и есть солидарность. Меня так и тянет спросить, что значит «солидарность», но подошедший парень в пиджаке и поношенных серых брюках просит нас попозировать для фотографии. Моя мама Антониетта кладёт руки мне на плечи. Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на неё, и мне кажется, что она вот-вот улыбнётся, но в последний момент мама передумывает, и, когда щёлкает камера, её лицо принимает своё обычное строгое выражение.

Наконец мы входим в то длиннее здание. Без мам дети выглядят маленькими и жалкими, включая и тех, кто корчит из себя отъявленных хулиганов. Девушки строят нас в колонну по трое и ведут в какой-то тёмный коридор, где велют ждать. Воспользовавшись случаем, я перемещаюсь поближе к Томмазино, чтобы он не так трусил, а то вон коленки дрожат – даже сильнее, чем когда наши хомяки снова стали крысами. Третьей с нами девчонка по имени Мариучча – худощавая, коротко стриженная дочка башмачника, что живёт на самой вершине холма Пиццофальконе. Мы знакомы, поскольку моя мама Антониетта как-то водила меня к ним в мастерскую спросить, не возьмётся ли её отец научить меня ремеслу, раз уж я на обуви помешался. Но он даже глядеть не стал, только ткнул пальцем за стойку, где уже сидели четыре паренька разного возраста – кто с ботинками, кто с гвоздями, кто с клеем: сыновья, которых покойной жене, царствие ей небесное, хватило духу повесить ему на шею, прежде чем отправиться в мир иной. Мариучча, единственная в семье девчонка, как немного подросла, взяла в

свои руки весь дом и братьев в придачу, хотя все четверо больше торчали в отцовской мастерской – на подхвате. Так что вышел мне от ворот поворот.

Хабалда потом рассказала, что, когда Маддалена пришла поговорить с ним о поезде, башмачник сразу решил отправить именно Мариуччу: остальные ведь были мальчишками, а значит, пригодными к работе; она же, по его словам, и двух макаронин над очагом разогреть не могла – бесполезное существо.

Нас выстраивают в колонну, и Мариучча бледнеет, в глазах ужас.

– Нет! Не хочу! – рыдает она. – Мне там пальцы отрежут и в печку сунут!

Не только она, но многие другие тоже рвутся домой:

– Я заразный, я заразный! – кричат они так радостно, будто не болезнь подхватили, а выиграли в лотерею.

Услышав это, остальные хором подхватывают:

– Мы заразные, мы все заразные! – думают, тех, кто болен, в поезд не пустят.

Мы с Томмазино и Мариуччей жмёмся друг к другу. Мариучча время от времени принохивается, но горелым мясом вроде не тянет, да и дыма не видно, значит, в печь нас никто совать не станет – по крайней мере пока. Девушки бегают туда-сюда, то и дело обращаясь к высокому юноше с конторской книгой в руках – Маддалена зовёт его «товарищ Маурицио», и он тоже обращается к ней «товарищ», будто они в одном классе учатся. Товарищ Маурицио прохаживается по коридору, всех выслушивает, всем отвечает, что-то помечает карандашом. Дойдя до нас, он вдруг останавливается, присматривается:

– Вы кто такие?

Мы не отвечаем: стесняемся.

– Эй, я с вами говорю! Языки проглотили? Или вам их отрезали?

– Вообще-то пока нет, – бормочет до смерти перепуганный Томмазино.

– А что, должны отрезать? – перебивает его Мариучча. – Выходит, права была Тюха!

Товарищ Маурицио хохочет, потом ласково поглаживает всех троих по головам.

– Ну, раз не отрезали, тогда покажите! Давайте, высуньте!

Мы удивлённо переглядываемся и вываливаем языки.

– По правде сказать, будь моя воля, я бы их подрезал, слишком уж они у вас длинные, как на мой вкус... – Мариучча, тут же спрятав свой, прикрывает рот руками. – Но, видите ли, закон нам это запрещает... – товарищ Маурицио сосредоточенно листает свою книгу. – Нет, серьёзно, поглядите! Вы читать-то умеете? Нет? Жаль, могли бы сами убедиться. Вот, Комитет по спасению детей, параграф сто три: «Резать детям языки строго воспрещается...» – и снова хохочет. Потом разворачивает книгу к нам и показывает, что страница чистая.

– Товарищ Маурицио просто любит пошутить! – с облегчением выдыхает Томмазино.

– Именно! Молодец! – говорит товарищ Маурицио. – А ещё я люблю... Пойдите-ка пять минут смирно...

И он начинает рисовать прямо на этой чистой странице. Потом взглядывает на нас – и продолжает, замирает, снова поднимает глаза – и снова рисует. Наконец вырывает страницу из книги, показывает нам, и мы застываем на месте, разинув от удивления рты: это ведь мы, наши лица, точь-в-точь! Рисунок товарищ Маурицио отдаёт Томмазино, и тот прячет его в карман.

Из глубины коридора подходят две девушки в фартуках и перчатках. Они велят нам снять одежду, а у нас троих уже глаза на мокром месте: у Мариуччи – от стыда, что приходится раздеваться у всех на виду, Томмазино опасается, что у него сопрут его старые дырявые ботинки, а я вдруг вспоминаю, что один носок у меня целый, а другой штопанный. Поэтому иду к одной из девушек и говорю, что раздеться не могу. Холодно мне. И друзьям моим тоже.

К счастью, тут появляется Маддалена.

– Давайте-ка сыграем в одну интересную игру, ладно? – говорит она. – Вы такой игры не знаете, но я вас научу. Только сперва нужно снять одежду. А потом мы дадим вам другую – новую, красивую и тёплую.

– И ботинки тоже? – перебиваю я.

– И новые ботинки, конечно! – смеётся она, заправляя за ухо прядь волос.

Мы потихоньку раздеваемся, и Маддалена ведёт нас в другую комнату: там на потолке трубы, которые брызгают водой – вроде дождя, только тёплого. Ставит меня под одну, и на голову тотчас начинают падать капли. Я зажмуриваюсь – боюсь захлебнуться, – но тут подходит Маддалена с губкой в руке, и я вдруг оказываюсь с ног до головы в ароматной белой пене. Маддалена моет мне волосы, руки, колени, ступни, проводит мылом по всему телу, будто гладит. Вот мама никогда меня не гладит. Потом я открываю глаза. Рядом стоит Томмазино, брызгает в меня водой, а дальше шлёпает босыми ногами по полу Мариучча, и за ней остаются грязные следы.

Маддалена по очереди моет их, споласкивает, заворачивает каждого в плотную белую простыню и усаживает на деревянные лавки рядом с другими, уже чистыми детьми. Чуть погодя приходит девушка-коммунистка с полной корзиной булочек и даёт нам по одной. Говорит, их прислал врач, который должен нас осмотреть. Я врачей никогда не видел, да и видеть не хочу, но булку съедаю. Потом закрываю глаза и чувствую в носу мощный запах мыла.

6

Железнодорожные пути на вокзале «Пьяцца Гарибальди» засыпаны щебнем, многие вагоны разбиты во время бомбёжек. Однажды я видел солдат на параде: они шли, размахивая флагами, но у каждого чего-то не хватало – у кого руки, у кого ступни, у кого глаза. Разбомблённые поезда похожи на таких же ветеранов – они ранены, но пока живы.

Зато те, что остались целы, настолько длинные, что видишь только их начало, а конец теряется где-то вдалеке. Маддалена обещала, что мамы обязательно попрощаются с нами перед отъездом, но сдаётся мне, в таком виде они нас попросту не узнают. К счастью, у каждого из нас на груди, поверх пальто, нашит номер, иначе бы нас точно приняли за детей с Севера и даже не сказали бы вслед уходящему поезду: «Ангела-хранителя вам в дорогу».

Всех мальчишек постригли, одели в короткие штанишки, шерстяные гольфы, майку, рубашку и пальто. Только мои волосы никто не тронул: я ведь и так почти лысый, как дыня. Девчонкам заплели косички с красными или зелёными бантами, надели платица или юбочки, а сверху – такие же пальто. И ботинки, каждому по паре ботинок! Правда, когда дело дошло до меня, мой размер кончился, и мне дали другие – новёхонькие, блестящие, коричневые, со шнурками, но только на размер меньше.

– Ну, как сидят? Удобно тебе?

Я покачался немного с пятки на носок: узковаты. Но из страха, что отберут, закивал:

– Отлично! Лучше и быть не может, – и мне их оставили.

В очереди на платформу нас проинструктировали: не пачкаться, не кричать, окон не открывать, не бегать, в прятки не играть, вещи из поезда не красть, ботинками и штанами не меняться, косички не распускать. Потом, поскольку после булочек мы успели проголодаться, раздали по два кусочка сыра. О шоколадках речь больше не шла. Сам поезд ещё не подогнали, и все сгорали от любопытства. Я похвастался было, что мой отец тоже уехал на поезде, аж в самую Америку. А если бы дождался моего рождения, мы могли бы вместе поехать. Но Мариучча возразила, что в Америку на поезде не ездят, только на корабле. Да что ты знаешь об Америке, хмыкнул я, твой отец, небось, никогда туда не ездил. А она ответила, мол, каждый дурак знает, что Америка за морем. Мариучча меня старше и в школе, говорит, хорошо училась, пока её матери не хватило наглости умереть, оставив их с братьями на отца-башмачника. Будь здесь Хабалда, я бы её спросил, правда ли, будто Америка за морем, но её нет, как и моей мамы Антониетты (которая, правда, всё равно многого не знает, потому что не особенно сильна в знаниях). Зато есть светловолосый коммунист, который спорил со своими товарищами в здании на виа Медина, – он помогает Маддалене пересчитать нас, детей, и, кажется, рядом с ней уже не так грустит. Может, ей наконец-то удалось решить южный вопрос, который его так расстраивал?

Издали поезд выглядит совершенно таким же, как в магазине игрушек на Ретифило. Но чем ближе он подходит, тем больше становится, пока не вырастает до неба. Томмазино в ужасе прячется за мою спину: не понимает, что я тоже боюсь. Девушки называют номера на наших пальто, сверяют их с именами в списке. «Америго Сперанца!» – кричит одна, когда дело доходит до меня, и я, одолев три железных ступеньки, оказываюсь в поезде. Здесь пахнет сыростью и затхлостью, как у Тюхи дома. Снаружи вагон казался таким огромным, но внутри всё узко и неудобно: множество крохотных каморок рядочком, двери открывают и закрывают железным рычагом. Только попав сюда, я вдруг понимаю, что и глазом моргнуть не успел, а назад вернуться не смогу, даже если захочу. Потом вспоминаю о маме, которая, наверное, уже дома, и в животе всё сжимается. За мной в вагон забираются Мариучча с Томмазино – судя по их лицам, тоже думают: «Боже, зачем же мы это делаем?» А девушки продолжают выкрикивать имена, и поезд потихоньку заполняется. Мы то вскакиваем с мест, то снова садимся,

то носимся взад-вперёд. Одни просят поесть, другие – попить. В какой-то момент в наше купе заходит товарищ Маурицио – тот, кто хотел нам языки подрезать, а вместо этого портрет нарисовал, – и говорит: «Тише, тише, садитесь, ехать долго...» Но мы продолжаем озорничать, и товарищ Маурицио больше не улыбается: похоже, ещё немного – и взорвётся. А тогда прощай всё: поезд, ботинки, пальто... Выходит, права Тюха: раз мы не умеем ценить благородство, то и сами ничего не заслуживаем. Я сажусь на деревянную лавку и прижимаюсь лбом к грязной переборке, в глазах предательски щиплет: от затхлого запаха, от жёсткости сиденья, от грязных стёкол, от мыслей о маме...

А потом Мариучча и Томмазино вдруг кричат:

– Америго, Америго! Беги скорей, погляди!

Я вскакиваю с места и бросаюсь к окну, пытаюсь найти свободное местечко среди других детей, которые тянут наружу руки в надежде коснуться мам. Томмазино чуть сдвигается в сторону, и я вижу свою. В плотной толпе она кажется меньше ростом и, хотя поезд ещё не двинулся с места, уже бесконечно далёкой. Рядом Хабалда – тоже пришла со мной попрощаться, несмотря на то что с утра отстояла поминальную службу по кому-то из родственников.

Мама бросает мне яблоко – маленькое, тёмнокрасное, круглое, сорта «аннурка». Сюю его в карман, понимая, что съесть не смогу, настолько оно красивое. На сердце похоже – я такое видел в капелле князя Сангро¹⁰, куда однажды пробрался вместе с Томмазино. Хабалда страшила: там в шкафу скелеты – настоящие, с костями, сердцем, кровью и всем таким. Томмазино поначалу идти не хотел: боялся, что покойники нас утащат. Но Тюха ему сказала, что бояться нужно живых, а не мёртвых. В общем, зажгли мы свечку, спустились в крипту, вдруг глядь: из темноты на нас статуи смотрят, каменные, но словно живые! А посередине под покрывалом мраморный Иисус Христос спит – и будто готов в любой момент проснуться, настолько это каменное покрывало тонкое и лёгкое. Я побродил немного среди статуй, хотя сердце колотилось и в голове бухало, а потом наконец увидел их, двух скелетов: стоят передо мной на своих двоих, как едва дух испустили, даром что без кожи – блестящие лысые черепушки, беззубая улыбка, кости в путанице синюшно-багровых вен... А в центре – сердце, круглое, тёмно-красное, как яблоко-аннурка. От неожиданности свечка выпала у меня из рук, и мы остались в полной темноте. Кружили по залу, звали на помощь, но без толку: так никто и не ответил. В конце концов, сам не знаю как, Томмазино нашёл-таки выход. Значит, прав он оказался: хоть живых и стоит бояться, мёртвые тоже шутить не станут. Когда мы на улицу выскочили, уже стемнело, но ночная тьма нам сушей ерундой показалась по сравнению с непроглядным мраком крипты. А эти скелеты князя Сангро мне до сих пор иногда снятся.

Я всё гляжу на маму через окно, а она только молча в шаль кутается. Молчание – вот в чём она по-настоящему сильна. Потом поезд взвизгивает – даже громче, чем та училка с подзатыльниками, когда обнаружила мёртвого таракана, которого мы спрятали в букварь, – мамы на платформе начинают махать руками, и мне кажется, что они прощаются.

Но нет: в ту же секунду все дети в поезде, даже Мариучча с Томмазино, как по команде скидывают пальто и протягивают в окна.

– Эй, вы что делаете? – растерянно спрашиваю я. – Окочуритесь же на Севере!

– Такой уговор, – отвечает Томмазино. – Кто уезжает, оставляет пальто братьям, которые остаются. Зима на Севере, конечно, холодная, но и здесь тоже не жарко.

– А как же мы?

– Нам коммунисты ещё дадут! Они богатые, могут себе позволить! – кричит Мариучча, бросая пальто отцу-башмачнику, который сразу надевает его на младшего из братьев-сирот.

¹⁰ В капелле князя Сангро (более известной как капелла Сан-Северо) хранятся препарированные и мумифицированные князем Раймондо де Сангро тела мужчины и женщины.

Я не знаю, что и делать: наверное, повернись всё иначе, мой старший брат Луиджи и донашивал бы за мной одежду, но теперь-то точно нет... Потом соображаю, что мама всегда может перелицевать пальто и сделать себе тёплый жакет, поэтому снимаю его и бросаю в окно. Только яблоко себе оставляю. Моя мама Антоньетта, поймав пальто на лету, встречается со мной взглядом и, кажется, улыбается.

Из соседнего купе слышны крики девушек. Я высовываюсь в окно: что там ещё? По платформе нервно вышагивает взад-вперёд начальник станции: никак не может решить, за что хвататься – то ли задержать отправление поезда и попытаться вернуть нам одежду, то ли спустить это грандиозное надувательство на тормозах... Товарищ Маурицио выходит с ним поговорить. В конце концов, чтобы лучше протопить поезд, они решают прицепить к составу ещё один котельный вагон, не то мы замёрзнем в дороге.

В общем, под визг девушек, стук каблуков матерей, потихоньку расходящихся по домам с пальто под мышками, и наш детский хохот начальник станции поднимает жезл, и локомотив начинает движение – сперва тихо-тихо, потом всё быстрее. А моя мама Антоньетта так и стоит на платформе, уползающей всё дальше и дальше. И я вижу, что она обеими руками прижимает к себе моё пальто – так же крепко, как прижимала меня самого под бомбёжками.

7

– А как же нас теперь узнают? – едва не плачет Мариучча. – Имена-то ведь на пальто, а пальто тю-тю!

– В лицо тебе заглянут, нет? – хихикает Томмазино.

– Ясное дело, но коммунистам-то почём знать, кто из нас ты, а кто я? Мы для них все на одно лицо, как для нас – негры в Америке. Сдохнем с голоду – и ладно, им что за дело?

– Мне кажется, это они нарочно, – встревает какой-то мальчишка. Волосы у него цвета соломы, а на месте трёх передних зубов зияют дыры. – Сами наших мам и подучили пальто забрать, чтобы нас, как до России доберёмся, уже точно никто не нашёл.

– И чтобы мы от холода окочурились, – добавляет другой, мелкий чернявый шкет.

Трясущаяся Мариучча вскидывает на меня полные слёз глаза: неужели правда?

– Ты разве не знаешь, что в России детей на завтрак едят? – пугает её белобрысый.

– Тогда тебя точно назад отправят, – перебиваю я, – костлявый больно... И потом, кто тебе сказал, что мы в Россию едем? Я только про Северную Италию слышал.

Мариучча чуть успокаивается, но белобрысого так просто не возьмёшь:

– Это матерям ввали, что Северная Италия: иначе кто согласится? А на самом деле в Сибирь отвезут, в ледяных домах поселят, с ледяными кроватями, ледяным столом, ледяной кушеткой...

Слёзы текут по щекам Мариуччи, капают на новое платье.

– Ну и прекрасно, – не теряюсь я, – значит, будем из этого льда граттателу¹¹ делать. Вот ты, Мариу, какую предпочитаешь: лимонную или кофейную?

Тут к нам в купе заходит товарищ Маурицио, а с ним ещё один – длинный, худющий, на глазах стёклышки. Завидев его, дети дружно хохочут:

– Ха, очкарик!

– Швабра!

– У кого четыре глаза...

– Тише, ребята, тише! – выговаривает нам товарищ Маурицио. – Вы вообще знаете, что за самую возможность сесть в поезд вы должны благодарить именно этого синьора?

– Вот этого? – перебивает чернявый шкет. – А кто он такой?

– Зовут меня Гаэтано Маккиароли, и по роду занятий мне больше знакомы книги, – протяжно произносит Очкастая Швабра – словно поёт. Мы разом замолкаем, будто нам и впрямь языки отрезали. – Это замечательное начинание мы организовали с группой товарищей специально для вас...

– А зачем? Вам от этого какая выгода? Вы же нам не родители, не отцы-матери, – не смущается чернявый – по-моему, единственный, кого не одолела робость.

– Когда в этом возникает необходимость, каждый из нас становится нуждающемуся и отцом, и матерью. Потому мы и везём вас к людям, которые будут заботиться о вас, как о собственных детях. Для вашего же блага.

– Стало быть, всё-таки обреют? – шёпотом уточняю я.

Но длинный этот, худющий, за очками своими не слышит, только обеими руками машет – прощается:

– Удачной поездки, ребята! Будьте молодцами, не скучайте!

Оба они уже вышли, а никто в купе ещё пару минут вздохнуть не смеет – боятся.

Наконец возвращается товарищ Маурицио, садится посередине, книжку свою открывает.

¹¹ Граттатела – сицилийский десерт из тёртого льда с сиропом и фруктами.

– Ну-с, – говорит и всем по очереди в глаза заглядывает, – раз уж вы решили «подарить» мамам пальто, на которых имена с фамилиями указаны, придётся теперь вас заново переписывать. Тут у меня списки детей по каждому вагону, – и начинает расспрашивать про наши имена, фамилии, как отца зовут, как мать. Мы по очереди отвечаем, и нам снова прицепляют листки с номерами – на сей раз к рукаву. Дело доходит и до щербатого белобрысого, но сколько товарищ Маурицио его ни спрашивает, всё без толку: тот будто воды в рот набрал. Тогда товарищ Маурицио пытается позвать его по имени – вдруг хоть так откликнется: Паскуале, Джузеппе, Антонио, – но в итоге только расстраивается и уходит в соседнее купе.

– Ты зачем глухонемым прикидываешься? – спрашивает Томмазино. – Бедняга совсем терпение потерял!

– А что я, дурак называться? – и щербатый, криво усмехнувшись, величественным жестом вешает на сгиб локтя воображаемый зонтик, будто он важная персона.

– Но как же номер? – волнуется Мариучча. – Ты разве не боишься, что тебя маме не вернут?

– Маме? Она-то меня научила, что контрабандисты никому ничего не выдают: ни имени своего, ни родственников, ни где их дом. Даже под бомбами! А уж тем более полицейским ищейкам!

Белобрысый всем своим видом показывает, что выше нас, мелюзги. Мы молчим, он тоже, но теперь, как мне кажется, от страха, что, когда вернёмся, из-за этой хитрости никто не поймёт, кому его забирать.

Через некоторое время приходит незнакомая девушка со списком в руках, и всё начинается заново. Наступает мой черёд, и она просит меня назвать моё имя.

– Америго Сперанца.

– Лет сколько?

– Полных семь.

– Родителей как зовут?

– Антониетта Сперанца.

– А отец? Имя, род занятий?

– Не знаю, – смущённо отвечаю я.

Она вскидывает брови:

– Как это? Не знаешь, чем отец занимается?

– Я даже не знаю, жив ли он ещё. Одни одно болтают, другие другое. Моя мама Антониетта говорит, он в Америку уехал, Тюха – что сбежал...

– Тогда пишем «пропал без вести»?

– Может, просто оставим место? – спрашиваю я. – И впишем, когда вернётся?

Девушка не отвечает, только чуть приподнимает карандаш и переносит его на строчку ниже.

– Ладно, давай дальше, – вздыхает она.

8

Едем уже долго. Крики, смех и слёзы, которыми сопровождался отъезд, постепенно утихли, слышен только мерный, однообразный стук колёс. В поезде воняет затхлым, липким – как в той крипте с живыми скелетами. Глядя в окно, я думаю о своём месте в нашей с мамой кровати, о мешках с кофе, которые прятал под ней Долдон, об улицах, по которым я в любую погоду слонялся целыми днями, пока тряпичничал. Думаю о Тюхе, которая в этот час, должно быть, легла спать в своём полуподвале, поцеловав на ночь портрет усатого короля на тумбочке, и о Хабалде – кажется, я даже чувствую запах её знаменитой луковой фриттаты¹². Думаю о переулке, где жил, – уже и короче, чем этот поезд, об отце, который отправился в Америку, и об унесённом бронхиальной астмой старшем брате Луиджи, из-за которого мне теперь приходится ехать совсем одному.

Время от времени голова склоняется на плечо, глаза закрываются, мысли путаются. Соседи давно уснули, а я всё смотрю в окно. Потом, заметив луну, бегущую над полями – будто с поездом в догонялки играет, – забираюсь на лавку, обхватываю колени руками. Слёзы медленно текут по щекам, скапливаются в уголках рта. Они такие солёные, что напрочь отбивают последнюю память о шоколадке. Рядом блаженно сопит Томмазино – и это трусишка, который даже тени своей боится! А я, не раз спускавшийся в канализацию, чтобы наловить крыс, только и надеюсь, что поезд остановится и нам придётся вернуться, и больше всего на свете хочу услышать голос мамы: «Амери, хватит уже гулять, иди домой!»

Но стоит чуть задремать, раздаётся скрежет, от которого у меня волосы встают дыбом – будто по дну огромного котла скребут. Поезд вдруг встаёт как вкопанный, и мы валимся друг на друга – настоящая куча-мала. Я больно бьюсь лицом об пол; Мариучча, спросонья перепугавшись, что порвала новое платье, снова принимается рыдать.

– Да кто этого безрукого в кабину-то пустил? – ворчит белобрысый.

– Что случилось? Уже приехали? – бормочет полусонный Томмазино.

– Быть того не может, – отвечает чернявый шкет. – Мама говорила, всю ночь будем тащиться и завтра ещё...

Свет гаснет, мы остаёмся в полной темноте. Издалека доносится крик, будто кого-то бьют. Потом повисает долгая тишина, которую прерывает уверенный голос – должно быть, белобрысого или, может, кого другого, решившего воспользоваться тем, что вокруг хоть глаз выколи, и до смерти всех перепугать:

– Вот увидите, сейчас нас из поезда выкинут и уедут, а мы кукуй неизвестно где.

– По-моему, просто паровоз сломался, – возражаю я, чтобы немного приободрить Мариуччу. Да и себя тоже. А сам припоминаю, что кричала Тюха: это фашисты пути заминировали, чтобы нас взорвать.

Но Мариучча не успокаивается и снова начинает хныкать.

– Мы все тут сдохнем от холода, – раздаётся ещё один голос из темноты. – Или от голода.

Я затыкаю уши, зажмуриваюсь и пару минут жду взрыва, но ничего не происходит. Наверное, Маддалене каким-то образом удалось разобраться со взрывчаткой: не зря же ей бронзовую медаль за спасение моста вручили. По спине бежит холодок, словно из непроглядного мрака ко мне тянутся костлявые пальцы скелетов князя Сангро, и я открываю глаза. Тут дверь купе распаивается, но никто не произносит ни звука, никто даже не дышит. Мы замираем и ждём.

– Кто из вас стоп-кран дёрнул?

¹² Фриттата – итальянский омлет с начинкой. Луковая фриттата – пицца бедняков.

Свет вдруг снова включается. В дверях стоит Маддалена, посреди лба залегла беспокойная морщинка.

– Поезд – не игрушка, – говорит она, косясь на белобрысого. Тот делает вид, что оскорблён подозрениями, но, по-моему, уже немного сожалеет, что не назвал своего имени: теперь он вечно виноватый, что бы ни случилось. Впрочем, так ему и надо.

– Ничего мы не дёрпали! – подаёт голос Томмазино, избавляя щербатого контрабандиста от необходимости объясняться.

– Мы все спали, – поддакивает Мариучча. Платье цело, и она больше не плачет.

– Ладно, сделано и сделано, – хмурится Маддалена. – Но руки чтоб никто не распускал и ничего лишнего не трогал, не то завтра весь день в полицейском участке проведёте.

– А как он выглядит, тот стоп-кран, который поезд останавливает? Ручка такая, красная? – с хитрецей интересуется белобрысый.

– Так я тебе и сказала! Что я, по-твоему, дура? – рявкает Маддалена. Тот, поняв, что шутка не к месту, умолкает. – Как бы то ни было, с этой минуты я сижу здесь. Пригляжу, чтобы каких других незапланированных остановок не случилось!

Она усаживается в углу и вскоре уже улыбается: похоже, не умеет долго злиться. Может, за это ей медаль и вручили.

9

И снова все спят, один я не сплю. Не умею спать в тишине. У нас в переулке всегда шумно, что днём, что ночью: даже во время войны жизнь ни на минуту не замирала. А здесь сколько в окно ни смотри, сплошные развалины: опрокинутые гусеницами вверх танки, разбитые, обгоревшие самолёты, полуразрушенные здания, повсюду осколки, обломки, черепки... И мне грустно, будто моя мама Антониетта снова поёт мне ту колыбельную, где «Баю-баюшки-баю, малыша кому даю?»¹³, а у меня сон как рукой снимает, потому что сперва капризного малыша отдают ужасному чёрному человеку, и тот держит его у себя целый год. Но через год чёрному человеку тоже становится невмоготу и он передаёт эту обузу кому-то другому, тот – третьему... В общем, я так ни разу и не понял, чем у них дело кончилось.

Иногда поезд останавливается. Тогда другие дети вскакивают с лавок и снова начинаются крики, смех и слёзы, но ненадолго. Потом опять воцаряется тишина, остаются только стук колёс да моя грусть. Раньше, когда мне было грустно, я шёл к Хабалде. А перед отъездом сложил все свои сокровища в старую шкатулку, которую дала мне моя мама Антониетта, и мы вместе спрятали их под шатающуюся плитку у неё на кухне. Тюха говорит, Хабалда там и деньги держит. Но мне кажется, это она от зависти.

Томмазино тоже спит, но теперь куда беспокойнее: ворочается, брыкается, каждые пять минут открывает глаза, бормочет что-то непонятное и снова закрывает. Снится ему что-то: то ли яблоки с телеги седого Луны, то ли коммунистические печи, то ли материнская порка по возвращении домой после того случая с крысами – кто его знает. Счастливчик, как ни погляди: уж лучше кошмары во сне, чем наяву. Хабалда говорит, если сон не идёт, не нужно себя заставлять, так что я поднимаюсь и выбираюсь в коридор. Расхаживаю там взад-вперёд, в другие купе подглядываю. И в каждом купе, множество детей: спят себе спокойненько, будто у себя дома. А я снова мою маму Антониетту вспоминаю. Как-то вечером, ложась в постель, задел холодными ногами её бедро. Она, ясное дело, в крик: «Что я тебе, печка? И где ты только эту мороженую треску взял? Убирай сейчас же!» Но потом поймала мои ноги, прижала к себе и грела, сперва одну, потом другую. Так я и уснул с ногами в её руках.

Дохожу до конца коридора, поворачиваю обратно, чтобы к себе на лавку вернуться. Но в купе не вхожу: обнаружив откидное сиденье, пристраиваюсь на нём, упираюсь лбом в стекло. Снаружи темно, ничего не видно. Кто знает, где мы сейчас, как далеко от дома? И сколько ещё добираться туда – не знаем куда? Стекло запотело от холода, и по моему лицу начинают стекать капли. Впрочем, так даже лучше: если вдруг захочется плакать, никто не заметит. Хотя вот Маддалена замечает: подходит, гладит по голове. Наверное, к ней тоже сон не идёт.

– Что плачешь-то? – спрашивает. – По маме скучаешь?

Я утираю слёзы, но она не отходит, продолжает меня гладить.

– Да нет, – говорю, – что я, маленький, по мамке плакать? Это всё ботинки... тесные они, понимаете?

– Так почему бы тебе их не снять? Всё удобнее будет. Ночь ведь, а ехать ещё долго.

– Спасибо, синьорина, вот только боюсь, сопрут ботинки-то мои. И придётся мне снова босиком ходить или чужие надевать. А я в чужих ботинках больше ходить не хочу. Хватит уже, находилась.

¹³ Стихи из тосканской народной песни *Ninna nanna, ninna oh* («Баю-баюшки-баю»).

10

Темнота вдруг сменяется ослепительным светом: поезд выскакивает из туннеля, и огромная луна сразу же заливает белым всё вокруг – дорогу, деревья, горы, дома. А сверху сыплются столь же белые крошки, какие побольше, какие поменьше.

– Снег! – шепчу я, чтобы убедить себя в реальности происходящего. Потом повторяю, уже громче: – Снег, снег!

Но никто в купе не просыпается – даже белобрысый, который врал, что нас в ледяных домах поселят. Вон, погляди на свою Россию! Я снова прижимаюсь лбом к стеклу: хочу последить за медленно падающими снежинками... И тут глаза наконец закрываются.

– Рикотта! Рикотта! – будит меня крик Мариуччи. – Америго! Амери!.. Просыпайся скорее, тут вся земля рикоттой усыпана! Повсюду валяется: на дороге, на деревьях, на верхушках гор! Тут даже дождь из рикотты идёт!

Ночь давно кончилась, в окно заглядывает солнце.

– Какая ещё рикотта, Мариу? Это же снег!

– Снег?

– Ну да, вода замёрзшая.

– Как та, что дон Мими в тележке возит?

– Наверде того. Только, видишь, тут вишен сверху не кладут, – зеваю я: глаза опять слипаются.

Даже в натопленном вагоне чувствуется, что снаружи холодно. Все дети, разинув рты, глядят на белое чудо за окном. По-моему, они даже не дышат.

– Что, неужели вы раньше такого не видели? – удивляется Маддалена.

Мариучча молча качает головой: стыдно ей, что приняла снег за рикотту. Какое-то время мы молчим, будто снегом засыпанные.

– Синьорина, а синьорина? – не выдерживает наконец щербатый. – Нам же, как доедем, поесть-то дадут? У меня с голодухи живот подводит хуже чем дома...

Маддалена улыбается – это она всегда так на вопросы отвечает. Сперва улыбается, а потом говорит:

– Товарищи из Северной Италии готовят нам торжественную встречу. С флагами, оркестром и целой горой еды.

– А с чего им так радоваться, что мы приедем? – вырывается у меня.

– Может, их кто заставил? – подхватывает Мариучча.

Маддалена говорит, мол, нет, они просто ужасно рады.

– Рады, что мы приедем и всё у них сожрём? – недоверчиво переспрашивает белобрысый. – Это ещё почему?

– Потому что у нас со-ли-дар-ность.

– Это что-то вроде до-сто-ин-ства? – перебиваю я, стараясь сделать лицо, как у Тюхи, только что сквозь зубы не сплёвываю.

Маддалена объясняет, что да, солидарность – это как достоинство, только в отношении других:

– Вот, скажем, есть у меня две палки салями, а у тебя нет. Я с тобой поделюсь, но и ты, когда у тебя будет два куска сыра, тоже со мной поделишься.

Неплохая, выходит, штука эта солидарность, думаю я. Вот только одно странно. Допустим, у жителей Северной Италии есть две палки салями и одну они отдадут мне. Но как я смогу в ответ поделиться с ними сыром, если до вчерашнего дня у меня и ботинок-то собственных не было?

– А я однажды пробовал салями, – сглатывает Томмазино: видать, от одних воспомина- ний слюнки текут. – Мне колбасник с виа Фориа подарил...

– Что, прямо так взял и подарил? – Мариучча, пихнув Томмазино в бок локтем, щёлкает пальцами: стянул, небось?

Томмазино неловко усмехается, и я, зная его не пер вый день, лихорадочно пытаюсь сме- нить тему. К счастью, Маддалена меня не слышит, потому что остальные дети снова начинают кричать. Я проталкиваюсь к окну и вижу за заснеженным полем что-то новое. Только сперва даже не понимаю, что именно, настолько оно незнакомое: ровное, неподвижное и серое, будто кошачья шерсть.

– Что, моря тоже не видели? – хохочет Маддалена. – Уж его-то вы должны были узнать!

– А моя мама Антониетта говорит, море – штука совершенно бесполезная, от него только холера и в горле першит.

– Это правда, синьорина? – хмурится Мариучча: всё-то ей не так.

– Ну, в море можно мыться, – начинает перечислять Маддалена, – плавать, нырять, раз- влекаться...

– Значит, коммунисты из Северной Италии нас и нырять научат?

– Так точно, синьор! Но не сейчас, конечно, сейчас слишком холодно. Когда лето придёт.

– А я плавать не умею... – признаётся Томмазино.

– Да ну? – поддразниваю его я. – Ты же летом на Искью едешь, забыл?

Он, скрестив на груди руки, обиженно отворачивается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.